

## «Главный урок „Логоса“ — это искусство практического драйва»

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. Кандидат философских наук, культурный деятель, основатель и бессменный руководитель московского издательства Ad Marginem.

- *Каким в профессиональном и интеллектуальном плане было для вас начало 1990-х годов?*

Вы видели первые номера «Логоса»? Примерно таким было и начало 1990-х. Все делалось на коленке. Тогда, в принципе, возник вызов — что дальше? Все так или иначе получили образование в советское, позднее советское время, и понятно, что тот тип образования предполагал тотализующую картину мира. Марксизм, как бы к нему ни относиться, давал такую картину мира. На языке марксизма (или даже антимарксизма — неважно) можно было описать все: от бессознательного до социальных практик, от экономики до политики и т. д. А ситуация начала 1990-х — это начало перехода к тому, что современные социологи называют ситуацией *multitudies*, горизонтальных неиерархических структур. И вот одной из *multitudes* была группа в составе Валеры Анашвили, Олега Никифорова, Игоря Чубарова — выпускников МГУ, решивших сделать журнал.

С Валерой я встретился, по-моему, летом 1991 года, когда тоже мигрировал из академической карьеры в издательскую. Тогда возникло издательство «Культура», которое возглавлял Михаил Швыдкой — театральный критик, преподаватель (кажется, он преподавал историю театра в Школе-студии МХАТ). Такой либеральный культуртреггер. Он основал издательство и пригласил в него разных людей. У меня там была философская редакция — делал серию «Философия по краям». Я был делегирован из Института философии. Подорога, Петровская, Рыклин отправили меня выполнять партийное задание — делать придуманную в недрах этой группы философов серию, которая называлась «Лаборатория постклассических исследований».

В то время существовало очень много подобных начинаний. Например, одно из них принадлежало Ирине Прохоровой, ныне

известной благодаря родственным связям со своим прославленным братом (тогда еще он не был Братом с большой буквы). Окончив МГУ, по-моему романо-германское отделение филфака, она работала редактором в «Литературном обозрении». Ситуация была мутной — власть уже теряла контроль над низовыми практиками. И вот осенью 1991-го, если не ошибаюсь, они выпустили номер, посвященный эротике.

А Валеру я встретил как раз на Арбате, у исторического места, где рождался старый «Логос». Если пройти метров сто по Гоголевскому бульвару в сторону Кропоткинской, там, немного в глубине, есть двухэтажный особнячок с мезонином. Здесь и была редакция старого журнала «Логос». На некоей философской карте Москвы обязательно должен быть этот дом. (Интересно, что раньше буквально напротив располагалась редакция журнала «Мусагет», где работали Андрей Белый, Павел Флоренский.) Очень милый особнячок, не знаю, кто его приватизировал. Его даже не превратили в новорусский, лужковский особняк. Я там недавно был — вроде с ним ничего не сделали.

Тогда Арбат был абсолютно перестроечной улицей, и как раз там мы обсуждали проект «Логоса». Идея состояла в возвращении к истокам. Марксистская традиция стерла все эти истоки, и нужно было, как полагал Валера, создавать первый настоящий академический журнал. Дореволюционный «Логос» был известен тем, что, например, тексты Гуссерля там публиковались раньше, чем в Германии. Такой феномен был, что русский перевод Гуссерля опережал выход оригинала. Гуссерль специально писал для русского журнала — там зародилась русская феноменология и было довольно много интересных мыслителей.

Этот феноменологический драйв был тогда очень моден. Он возник не на пустом месте, понятно. Поздние советские времена — это вообще период тотального господства феноменологической волны. Конечно, она по-разному интерпретировалась. Так, с конца 1970-х годов существовало просто повальное увлечение Хайдеггером. Владимир Библихин, например, переводил «Бытие и время» и статьи Хайдеггера, которые уже в начале 1990-х вышли тиражом 50 тысяч экземпляров — в издательстве «Республика» был опубликован сборник под названием «Время и бытие».

Был интерес и к герменевтике разных направлений — вокруг историков культуры и историков литературы типа Аверинцева. Или, например, существовала молодая волна в Институте философии, представленная Владимиром Малаховым, который редактировал перевод работы Гадамера «Истина и метод». Была

еще школа Виктора Молчанова в Ростове (он тогда еще жил там). И оттуда же, из Ростовского университета, вышли философ, профессор НИУ ВШЭ Михаил Маяцкий и ныне известный блогер Эдуард Надточий. Надточий в 1989 году опубликовал в латышском журнале «Даугава» очень веселую статью «Друк, товарищ и Барт» (Друк — это фамилия одного поэта). Таким образом, уже в поздние советские времена делались проекты, центрированные вокруг феноменологии. В воздухе висела взвесь из всяких начинаний и перемен.

Валера был настоящим фанатом журнала. И по-моему, он во многом продолжал либеральные позднесоветские традиции, в которых оппозиция марксизму формировалась в основном в лице феноменологии. Даже по предмету, по исследовательской манере это был антимарксизм: вместо социальных практик анализировались индивидуальные, герменевтические виды опыта, больше внимания было к культуре, к медленному чтению текста культуры. Марксизм был отвергнут.

Меня, честно говоря, феноменология тогда интересовала только косвенно. Группа, в которую я входил, занималась, условно говоря, постмодерном. Мы в основном сконцентрировались на французской традиции — Деррида, Фуко, Делёз и т. д. Это тоже была абсолютная пустыня — никаких текстов, все читали в спецхране, делали ксерокопии.

Надо сказать, что, например, Подорога вырос из диссертации, написанной про Адорно, то есть из Франкфуртской школы, и последовавшим за этим интереса к Беньямину и Фуко. Ямпольский занимался авангардным французским и немецким кинематографом 1920–1950-х годов. У Рыклина научным руководителем был Мамардашвили, которого, к слову сказать, воспринимали по-разному. Он, конечно, был гуру 1970–1980-х годов, стоял у истоков сразу нескольких традиций. Из него и феноменологическая линия вырастала, но также вырастала линия, которая странным образом была ближе к левому постмодерну фукианского, делёзианского и дерридианского типа, хотя Мамардашвили и не любил этих философов. Но сам характер его социального и философского поведения предполагал такую возможность тоже. То есть под его влиянием появились разнонаправленные вещи.

Интересы разделились так, что левые склонялись к постмодерну, более консервативные правые либералы — к феноменологии. И в этом смысле ретроспективно можно сказать, что журнал «Логос» был журналом праволиберальным, именно с уклоном

в феноменологию, которая выполняла функцию философски разработанной «фиги в кармане». При этом там была очень важная учебно-академическая составляющая, представленная комментариями, текстами. Конечно, это никоим образом политики не касалось, а имело отношение к заполнению огромных лакун, зон незнания, просто к преодолению необразованности, что вплетало историю «Логоса» в общую волну уже постсоветского становления институций. Это была одна из первых постсоветских журнальных институций.

Параллельно возникло «Новое литературное обозрение», многие другие журналы, часть из которых не дожили до наших дней, но являлись очень интересными проектами. Был журнал *De visu*, был, скорее, литературный журнал «Место печати», издаваемый Николаем Шептулиным. В общем, такая вот заваривалась каша.

• Когда вы узнали о создании нового философского журнала?

Нельзя сказать, что я стоял у истоков, держал руку на пульсе, но за 4–5 месяцев до выхода первого номера «Логоса», когда еще формировалась его концепция, я уже познакомился с ребятами. И все, над чем они думали, было мне довольно интересно и близко. Там, конечно, присутствовал огромный просветительский энтузиазм. Предполагалось, что бывают такие революционные периоды, когда философия становится вдруг нужна всем. При этом она не идет на уступки, не банализируется, не становится популярной философией. Откройте первый номер — какие там комментарии к какому-нибудь сложному абзацу из Гуссерля! Вдруг думаешь: «О! Как круто!» Это было как новость в газете и совпадало с ожиданиями времени, потому что рушилась очень большая система, сами ее основания подвергались критике. Конечно, инструментарием этой критики стали всевозможные дискурсивные практики и виды философского опыта: от феноменологии и герменевтики до, скажем, аналитической философии и психоанализа. Все, что было, — все шло в дело.

Хардт и Негри в «Империи» писали, что одна из причин гибели Советского Союза была связана с тем, что произошло в Европе после 1968 года, когда на смену индустриальной культуре, индустриальным практикам, в том числе политическим, пришла совершенно новая, неиерархическая ситуация. И ее по-разному и в разной терминологии все описывают. Латур называет это «сетью» и «переводом», например. Но закрепилось понятие *multitudes* («множе-

ства»), отражающее процессы формирования горизонтальных не-иерархических структур.

Лидеры Советского Союза, даже прогрессивные, этот момент прозевали. Реальную погоду в позднем СССР делали не силовики, не директора заводов, которые, в общем, уже не работали по-настоящему на экономику, а теньевые бизнесмены, компьютерные программисты, всякие «альтернативщики» типа каких-нибудь продюсеров нелегальных поп-групп. Они придумали совершенно новые форматы социальных сетей. Понятно, интернета не было, но сети существовали. Раскрутка «Ласкового мая» — это просто гениальная история, когда людям продавали кассеты прямо в поездах, чтобы они могли слушать этот «Ласковый май» в бесконечной дороге от Москвы до Иркутска, например. И вообще там было предложено очень много новых идей. Какой-нибудь Айзеншпис, продюсер группы «Кино», был человеком абсолютно современной культуры. А какой-нибудь директор оборонного завода был уже абсолютным египтянином, человеком из прошлого тысячелетия. То же самое касалось и различных политических, социальных и культурных практик. Диспозиция менялась очень сильно, и власть, которая почти этого не чувствовала, соответственно, проигрывала. Она проигрывала начиная с середины 1970-х годов и до конца 1980-х. И в итоге так и проиграла.

Понятно, полное повторение невозможно, но сегодня есть ощущение повторения, потому что власть опять не понимает, что возможны другие виды синтеза — не вертикального, не макросинтеза, а «молекулярного» синтеза страны. Того, что можно назвать социальным лейбницианством, когда огромное количество монад синтезируются не иерархическим образом, а окказиональным. Они вступают в какие-то странные союзы, объединения, затем распадаются, потом опять соединяются. А тот макроэкономический и макрополитический синтез, который предлагает сегодняшняя власть, звучит очень старомодно.

Так что время, когда родился «Логос», во многом перекликается с сегодняшним временем. С единственной только разницей — философия уже не играет такой роли. Именно эта философия — философия феноменологическая. Философия как чистая теория, чистая рефлексия над опытом, над созерцанием, над процедурами эго. Сегодня эта философия тоже выглядит достаточно старомодно. Но «Логос» меняется. Его нельзя обвинить, что он как сел на этот старый стул, так на нем и остался. Нет, там все меняется.

• *Опишите тех, кто создавал «Логос».*

Там было три синтеза, представленных тремя людьми. Валера занимался феноменологической философией, но главное, что он был и остается организатором. Его основной талант — талант удивительного организатора, человека миллиона компромиссов, что для организатора просто необходимая вещь. Он готов договариваться, соединять, уступать, настаивать. Олег Никифоров — в то время внимательный читатель Хайдеггера, переводчик его работ. А Игорь Чубаров был эдаким Санчо Панса при Галковском, который писал тогда «Бесконечный тупик». Игорь увлекающийся человек, влюбчивый. Он любит дяденек, которых полагает умнее себя. И эти дяденьки дают ему некий бензин, топливо для саморазвития. Игорь увлекался Галковским и параллельно занимался историей русской феноменологии. Занимался таким образом, что он ее просто чудовищно критиковал, полагал, что в России вообще никакой философии никогда не было. При этом писал диссертацию по тому, чего не было. Такой он интересный человек.

Из этих трех людей, трех начинаний, образ «Логоса» и составил. Ну и плюс возникли авторы, которые тоже стали определять характер журнала: это, например, Николай Плотников (тогда он жил в России), Виктор Молчанов (в то время был еще в Ростове, но оказывал довольно большое влияние, постоянно бывал в Москве, организовывал конференции по феноменологии; он по-прежнему настоящий академический ученый-феноменолог, что, собственно говоря, и составляет природу феноменологии как научной философии). В этом был основной заряд и старого «Логоса», и проекта нового «Логоса»: «Хватит трепаться, давайте займемся научной философией, будем заниматься настоящим эйдетическим анализом, разбирать тексты Гуссерля».

Тут, правда, есть проблема, и она в том, что Гуссерль не разбирал тексты. Гуссерль же не занимался тем, что, будучи учеником Brentano, подвергал тексты Brentano феноменологическому анализу. Гуссерль занимался большой философией. И в этом огромное отличие истории философии от философии. История философии занимается философией как предметом. И в этом смысле она сама по себе не является философией, а является учебной дисциплиной. А философия — будь то философия Гуссерля или Витгенштейна — знаете чем отличается от учебной дисциплины и от академического занятия? Тем, что там очень мало сносок. Оригинальный труд почти не содержит маленьких постраничных сносок.

Там людей занимает проблематика истины, проблематика науки или проблематика религии, скажем, но не проблематика просвещения, образования, создания архива и т. д. В этом суть отличия философии от истории философии — философии как практики от философии как департаментной учебной дисциплины.

И конечно, вопрос: как это все соотносилось в «Логосе»? Я думаю, было и то и то. Был драйв, была попытка вытащить учебную дисциплину в открытое поле. Что-то удалось, что-то — нет. Но попытка очень интересная. Главное, что обеспечивал Валерий, — это выживаемость проекта. Одни говорят, что у «Логоса» сейчас не больше тысячи читателей. А больше и не надо. Философия — достаточно специальное занятие. Важно то, что Анашвили удалось сохранить эту тысячу. Эту неразменную тысячу. Времена идут, люди меняются, но тысяча читателей есть, и это прекрасно!

• *Как этот импульс преобразовывался с течением времени?*

Я не летописец «Логоса». Были какие-то периоды, которые мне трудно отследить. Я могу сказать, что в определенный момент Валера сам почувствовал, что эта академическая философия мигрирует в какие-то новые формы. Последние 5–7 лет «Логос», на мой взгляд, довольно активно занимается, например, тем, что можно назвать антропологией и политической философией, философией различных практик. Это в целом большое подспорье для философии, потому что тот пафос классической созерцательности, которая всегда стояла за феноменологией, выглядит сегодня крайне старомодным. Известный факт, что, например, почти все феноменологические центры в Германии, родине феноменологии, сейчас перепрофилируются и занимаются или культурной антропологией, или аналитической философией, или еще чем-то. Феноменология, которую Мамардашвили называл просто синонимом философии, претерпевает фундаментальный кризис.

Философствовать так, как философствовал Гуссерль, как философствовали Ингарден, Brentano, Хайдеггер — любых феноменологов возьмите, — сейчас в чистом виде уже невозможно. Разве что в качестве индивидуальной практики, практики странной исповедальности, веры в чистую науку. Сейчас философия становится одной из составляющих того, что можно назвать практической теорией, то есть того, где нет заведомо установленного различия между теорией и практикой, где практика теоретична, а теория очень хорошо практически встроена.

• Можно ли назвать это культурологией?

Нет, это ни в коем случае нельзя назвать культурологией. Это нельзя назвать даже *Cultural Studies*. Скорее, это то, что Латур называет «перевод». Понятие перевода предполагает, что вам необходимо думать о своем предмете как о предмете, который находится не в чисто гуманитарном поле — в условном поле культуры, — а в поле, где гуманитарное пересекается с естественно-научным, политическое с академическим, социальное, например, с антропологическим и т. д. Ваш предмет всегда шире вашего департамента, как бы вы его ни называли.

Слово «культурология» очень позднесоветское, и оно кажется мне крайне неадекватным. Это понятие основано на позднесоветской вере, что культура очень важна, что все забыли о культуре, что, оперевшись на культуру, мы что-то здесь можем себе позволить. Эта вера, кстати, во многом сейчас транслируется властной вертикалью. Но культура — это вообще не тот инструмент, который позволяет нам что-то о чем-то думать. Чаще всего культура понимается как некий статус-кво, как набор институций, музеев, театров и т. д. Но слово «культура» в некоем более динамическом смысле — в смысле не факта, а акта — тут нам уже мало помогает. Культура — это то, что всегда остается после какой-то практической активности и инновационной постановки вопроса, когда все оседает, все структурируется и все говорят: «Вот это культура!» А когда мы посмотрим, как это организовано, то окажется, что все организовано на акультурных основаниях, на основаниях очень сложных, часто разрывных отношений с традицией, с тем же музеем, с тем же архивом. Поэтому нет, это не культурология, конечно.

Но попытка назвать это антропологией, социальной антропологией, политической антропологией тоже не выход. Это не антропология в том смысле, как эта дисциплина формируется в первой половине XX века. Сохраним пока это как некую открытую территорию. Важно понять, что сегодня установка на фундаментальное различие между гуманитарными и естественными науками, которое легло в основание, например, дильтеевского проекта, не работает. Нет никаких оснований думать сегодня о любой проблеме изнутри этого различия, из того полагания, которое этим различием устанавливается. Я думаю, сегодня интеллектуальный труд складывается из практик некоего синтетического думания, когда вдруг у физиков появляется потребность использовать некий гуманитарный инструментарий, например теологический, как объяснительную модель, а у гуманитариев появляет-



ся необходимость использовать математику в виде теории множеств или какое-то физическое или биохимическое знание для того, чтобы ответить на определенные гуманитарные вопросы. И «Логос» в каком-то смысле — в основном через переводы — это пытается делать.

Сейчас что-то похожее делает Олег Хархордин, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Не знаю, были ли его тексты в «Логосе». Знаю точно, что они публиковались в журнале «Неприкосновенный запас». За последние годы им издано несколько очень интересных книг. Вот этот сравнительно молодой человек, мне кажется, может в ближайшие годы (если ему удастся оформить свою зону через учеников, через какие-то институции типа журналов) стать одной из самых сильных фигур современной российской теории. Назовем ее, как американцы, таким нейтральным словом *theory*. Пусть это будет *theory*. Не философия, не культурология — *theory*.

• Кого из авторов «Логоса» вы могли бы выделить особо?

Я уже назвал некоторых: Молчанов, Плотников. Та же тройка, которая основала журнал. Вадим Руднев в какой-то момент очень активно сотрудничал с «Логосом». Потом туда уже пошла молодежь. Поскольку я отошел от академической жизни, только периодически заглядываю в журнал, то не узнаю некоторых, просто не знаю, что за люди. Валера, который ближе к академической сфере, их находит, все время открывает. Помню в первом номере публикацию потрясающего филолога-классика Михаила Гарнцева. Он очень известный публикатор, текстолог, выдающийся ученый. Сейчас приходит много молодежи. У филологов постоянно появляются какие-то новые имена. Кстати, происходят очень интересные процессы в классической филологии. Она совсем не умирает. Это зона, которая меня очень интересует. Хотя интересует, скорее, как любопытствующего читателя.

Кроме того, в журнале постоянно возникают очень любопытные тексты вокруг политической философии, социальной антропологии, экономики — много интересного. Журнал оказался чувствительным, не впал в феноменологическую идиотию — «только феноменология», хотя мог бы впасть. Но не впал, за что его упрекали. Мне кажется, важно, что Валера — человек, который готов прислушиваться к гулу перемен, он внимателен к каким-то мутациям, к изменениям научных и философских интересов, которые происходят. В этом, конечно, сила и журнала.

- *Как бы вы оценили тот факт, что «Логос» стал тематическим журналом?*

Да он и был тематическим с самого начала. Он выделял определенные, самые разные темы в качестве главных тем номера уже в 1990-х. Я помню, был выдающийся номер, посвященный обзорам. Там, например, впервые были опубликованы некоторые редчайшие тексты Леонида Липавского, относящиеся к малоизвестному периоду его творчества. Я считаю, это очень правильно, здорово.

- *Вы могли бы выделить какие-то этапы развития «Логоса»? Или практически все те характеристики, которыми он обладает сейчас, были заложены в 1990-е?*

Наверняка у журнала были разные этапы, я просто не могу их датировать. Я только вижу, что где-то в конце 1990-х журнал стал отходить от проекта чистой феноменологии и начал приближаться к тем или иным социальным и культурным практикам — литературе, политике, социальной сфере, научным практикам и т. д. Чистый феноменологический проект просуществовал лет 5–7, а потом журнал стал более разнообразным в своей ориентации. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, какие-нибудь академические феноменологи скажут: «Это измена, это неправильно». Но я считаю, что это вполне нормально. Так что *viva «Логос»!*

Название у журнала, конечно, очень фаллоцентричное, как сказал бы Деррида. Назвать журнал «Логос» — это все равно что назвать «Фаллос». Но что делать? «Логос» так «Логос». Сколько уже этих греко-латинских названий было. По крайней мере, это название понимают. Еще можно назвать «Семенной логос», например, вслед за стоиками. Я бы развивал эту тему мультипликации логосов. Один «Логос» — это все-таки очень жестко.

- *Николай Плотников насчитал около ста «Логосов», существующих по всему миру.*

Это все реинкарнация одного и того же фаллоса, да. А вот семенные логосы — это уже интересная тема. Через этот момент, связанный с пониманием множественности практической теории, принято отличать стоицизм от классической традиции. У Аристотеля есть такой пример: допустим, вы идете по улице и находите кошелек. И Аристотель говорит, что нет никакого закона, то есть ло-

госа, по которому понятно, что делать с этим найденным кошельком. Вариантов, как он говорит, огромное количество. Можно, например, постараться найти хозяина. Можно раздать его содержимое нищим. Можно присвоить этот кошелек — тысяча вариантов. Это означает только одно: когда вы сталкиваетесь не с теорией, не с этой платоновской пещерой, а когда вы вышли уже из пещеры и нашли кошелек, то этого логоса — предсуществующего, вечного логоса — тут и нет.

Тогда вам приходится действовать в рамках того, что Аристотель и вся последующая традиция называют свободной причинностью. Итак, вы двинулись в каком-то одном направлении. Например, стали искать хозяина кошелька. И тут возникает множество сопутствующих моментов, следствий, новых контекстов, новых ситуаций, в которых вы оказываетесь. Вам каждый раз нужно самому принимать решения и действовать, соотносясь с окказиональной причиной, подходящей именно к этому случаю, и с констелляцией всех приходящих условий.

В этом и состоит идея стоиков о том, что практический разум конституирован во многом иначе, чем разум теоретический. Мне кажется, это и есть то направление, в котором «Логос», возможно, интуитивно, не формулируя положение на этом языке, но движется. Потому что предсуществующий, вечносущий «Логос» сейчас под большим вопросом. Под большим вопросом сама процедура его полагания, этого логоса, его предъявления и т. д. А то, что в каких-то ситуациях мы сами устанавливаем причинно-следственные отношения и тот или иной тип рациональности, соотносясь с которым действуем в этих ситуациях, — это как раз та традиция, которая, на мой взгляд, «Логосом» практикуется. И это очень хорошо, потому что молиться на эрегированный «Логос» и думать, что он обеспечит полное счастье и взаимопонимание, довольно проблематично.

• *Повлиял ли «Логос» на развитие философии в России?*

Проблема заключается в том, что развитие философии в России выглядит не как линия, а как некая диссоциация. Мы не можем говорить о наличии здесь каких-то философских школ. Носителями философии выступают, скорее, люди, инфицированные чем угодно, хоть способностью предъявлять трансцендентальный аргумент. Это способность сугубо философская, заключающаяся в указании на необходимость говорить об условиях возможности чего-то. Это очень специфический навык — все время рабо-

тать с трансцендентальным аргументом в классическом понимании этого слова.

Например, с помощью этого навыка можно решать какие-то политехнологические вопросы, что показала практика 1990-х и нулевых годов. Человек, который умеет владеть трансцендентальным аргументом, может реально взорвать мозг — избавить его от того, что Гуссерль называл натуралистической установкой. Избавить от простого способа установления различий через тождества: кофе — это кофе, капучино — это капучино, это — это, то — то. Нет, мол, тут можно думать по-другому. И в этом смысле у нас философия, кроме учебной работы, получения грантов, издания журналов, всегда носила характер некоей «философской инфекции». Следы этой «инфекции», несмотря на затухание в мире философского драйва, можно найти в самых разных областях.

Я думаю, что схоластическая, академическая философская карьера сегодня — удел очень немногих. Современное общество, в принципе, не нуждается в таких живых носителях трансцендентального аргумента, которые даже во сне могут его сформулировать. Скорее, оно нуждается в критиках, в практиках, которые могут совмещать философское чувство, философский опыт с решением каких-то практических задач. Главный урок «Логоса» — это искусство такого практического драйва. Не возложение живых цветов к вечно торчащему «Логосу», а такой странный драйв и странное умение.

Например, греки — они же когда-то были совсем другими, чем те греки, которых мы видим сейчас в Греции. Климат был другой, в Древней Греции в классическом IV веке климат был близок к климату сегодняшней Германии. И люди были другими, и устройство общества было другим. Уже потом все эволюционировало таким образом, что греки стали такими *smart*, хитрованистыми. Линия Одиссея победила линию Ахилла. Иногда у них бывают какие-то неудачи вроде кризиса, но при этом если вы попадете в греческий мир, то увидите, как там люди умеют, что называется, делать дела. Какие-то мелкие, но дела. Я думаю, это судьба философии. На смену благородным мужам в тогах приходят некие странные стряпчие.

Знаете, у Германа Мелвилла есть замечательный рассказ «Писец Бартлиби», названный по имени героя. Он работает клерком в конторе, переписчиком, таким Акакием Акакиевичем. Ему говорят: «Бартлиби, перепиши эту бумагу, эту купчую». Он все время отвечает: «Я бы предпочел этого не делать». Это чисто философское поведение, в современном смысле. Это, конечно, очень неприят-

ное поведение для любого типа корпоративного сознания. «Как ты предпочел бы этого не делать? Что за дела, Бартлби?» Я думаю, что философия вот в таком почти телесном, риторическом, антропологическом смысле, конечно, бессмертна. Пока такой тип поведения, как у Бартлби, есть, пока кто-то говорит «Я бы предпочел этого не делать», это очень круто. И «Логос» в этом отношении ничем не отличается от других институций, которые идут на чудовищные компромиссы, будь то с политической или с академической властью, — куда без компромиссов? А все-таки этот огонек бартлби-стиля там, мне кажется, есть, и это прекрасно.